

А. К. Жолковский

ОЧНЫЕ  
СТАВКИ  
С ВЛАСТИТЕЛЕМ

Статьи  
о русской литературе

Москва  
2011

## ТОНКОСТИ ЧТЕНИЯ

Из заметок о Льве Толстом\*

### 1. Что такое искусство?

Просматривая в поисках нужной цитаты набоковские «Лекции по русской литературе», я наткнулся на густо подчеркнутое мной место и сразу понял, почему в свое время обратил на него внимание.

Речь там идет о парадоксальном соотношении правды и художественного вымысла. Набоков комментирует фразу из «Анны Карениной» (ч. I, гл. 3) — из пассажа о чтении Стивой Облонским его любимой либеральной газеты: «Граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден...» Кратко пересказав основные факты жизни графа Фридриха Фердинанда фон Бейста (1809—1886), в особенности его передвижения по Европе в 1871—1872 гг., и продемонстрировав, как это позволяет подтвердить датировку начала действия толстовского романа (11/23 февраля 1872 г.), Набоков садится на своего любимого эстетского конька:

\* Впервые: Раздел 1 — Звезда. 2010. № 8. С. 226—229 (под названием: «Вопрос: кто же из них более живой?»; разделы 2 и 3 — в составе статьи «Les mots: réité» (Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А.А. Зализняка / Под ред. Т.М. Николаевой и др. М.: Индрик. С. 669—689; см. с. 675—680); раздел 4 — в составе «Новых виньеток» (Звезда. 2002. № 1. С. 155—179; см. С. 172—174).

«Некоторые из вас, наверное, все еще недоумевают, почему мы с Толстым (отметим это непринужденное братание с классиком. — А. Ж.) упоминаем подобные пустяки. Чтобы магия искусства, художественный вымысел казались реальными, художник иногда помещает их в особую историческую систему отсчета, ссылаясь на какой-либо факт, который можно легко проверить в библиотеке, этой цитадели иллюзий. Случай с графом Бейстом может служить великолепным примером в споре о так называемой реальной жизни и так называемом вымысле. С одной стороны, имеется исторический факт: некий фон Бейст, государственный деятель и дипломат, оставил *два тома восточнианий, где он с большой обстоятельностью перечисляет все остроумные реплики и политические каламбуры, придуманные им за долгие годы его политической карьеры* (эти детали нам скоро пригодятся). С другой стороны, перед нами Стива Облонский, с головы до пят созданный Толстым, — и встает вопрос: кто же из них более живой, более реальный, более достоверный — настоящий, невыдуманный граф Бейст или вымышленный князь Облонский? Несмотря на свои *мемуары — многочисленные, тягучие, полные избитых клише* (опять о мемуарах), милейший Бейст так навсегда и остался не-натуральной и условной фигурой; между тем как никогда не существовавший Облонский — бессмертный, живой человек. Скажу больше: сам Бейст слегка оживает, попадая в толстовский вымышленный мир» (Набоков 1996: 286—287).

Мне, как, надеюсь, и большинству наших с Набоковым читателей, эта точка зрения близка. Дело даже не в высокой страсти для звуков жизни не падать, а просто в том, что авторы и персонажи романов (пес, фильмов, опер...) заведомо интереснее большинства выпадающих нам на долю знакомых, и время мы предпочитаем проводить с первыми, а не со вторыми. Но все-таки Набоков немного передергивает, ибо трудно себе представить, чтобы он не отдавал себе отчета в том, что пишет.

Пишет же он, пользуясь своей выигрышной позицией, не о том графе Бейсте, который был известен Толстому (естественно, относившему его по бесполезному, если не вредному, ведомству газетно-дипломатической суебды), а о том, каким он доступен взгляду позднейшего комментатора, знакомого, в частности, с его мемуарами, опубликованными, как честно отмечает Набоков, в 1887 г., т. е. десяток лет спустя после выхода «Анны Карениной». И ядовитому поношению он подвергает Бейста не за бессмысленность его политической карьеры, а за некачественность мемуарной прозы, включающей, среди прочего, пересказ собственных острот (в этом месте набоковского комментария я вздрогнул, ибо

грешу этим и сам, на что литературные недруги мне уже указывали). Получается, что фон Бейст – и с ним вся «реальная жизнь», представителем которой его назначает Набоков, – плохи и ненатуральны не сами по себе, а лишь постольку, поскольку описаны они многословной клишированной прозой (не говоря уже о наивном неумении автора отстраниться от собственных каламбуров и передать их другим персонажам, как это сделал бы Оскар Уайльд или Набоков). То есть хорошая литература (Толстой) оказывается реальнее плохой литературы (Бейста), а отнюдь не «так называемой реальной жизни». И, значит, дело не в «правде» и «вымысле», а в таланте пишущего.

Как мы теперь знаем, во всякой нон-фикшн есть большая доля фикшн – вымысла, состоящего в выборе того, что описывать, а что нет, как описывать – долго ли, коротко ли и в каком порядке, и как быть с неизбежными штампами. Иная документальная проза может поспорить с самой классической вымышленной. Так, по свидетельству Паустовского, думал Бабель:

«Мы заговорили о Герцене, – Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой» (Паустовский 1989: 20).

Разумеется, у Бабеля были с Толстым свои профессиональные сче­ты. Он воспринимал его в полном соответствии с так называемым страхом влияния (по Хэролду Блуму).

«...Я опять прочитал "Хаджи-Мурата" и расстроился совершенно невыразимо... <...> ...если бы я хотел *отравить себе жизнь* и думать о том, кто пишет лучше... Толстой или я ... я бы, *кроме ненависти и злобы, иного чувства к нему не испытал*» (Бабель 2006: 395, 398–399).

Но в связи с Толстым его занимала не столько проблема «реальности, правда vs. вымысел, форма», сколько поиск формы, органически соответствующей его реальному опыту.

«Перечитывая «Хаджи-Мурата», я думал, вот где надо *учиться*. Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие *покровы чувством правды, причем когда эта правда появлялась, то она облекалась в прозрачные и прекрасные одежды*. Когда читаешь Толстого, то это *пишет мир*, многообразие мира... ...Говорят, есть *трюки, приемы*... ...Казалось бы... чтобы так написать, нужно *трудокачество*, необыкновенное *техническое*

умение. А там это *поглощается чувством мироздания*, которое им водило» (Там же: 396).

«... У Гёте... я прочитал определение новеллы – того *жанра*, в котором я себя *чувствую более удобно*... Это есть рассказ о необыкновенном происшествии... Я думаю, что для того, чтобы писать типическое таким потоком, как Лев Толстой, ни сил, ни данных, ни интереса у меня нет. <...> И поэтому, *оставаясь поклонником Толстого, я... иду... противоложным путем*... у Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках... а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы *описать самые интересные пять минут, которые я испытал*. Отсюда и появился этот жанр новеллы» (Там же: 397–398).

Зато претензии к Толстому другого его литературного потомка отчасти переключаются с парадоксом Набокова. Юрия Оле­шу не убеждал образ Левина.

«Мне кажется, что Толстой сделал неправильно, избрав героем Левина, как он есть, с его мудрствованиями, антигосударственностью, поисками правды, и не *сделав его писателем*. Получается, что это просто упрямый человек, шалун, анфан-геррибль, кем, кстати говоря, был бы и сам Толстой, не будь он *писателем*. Иногда Левин кажется самовлюбленным, иногда просто глупым... Все это оттого, что он *не писатель*. Кто же он в самом деле, *если не писатель?* [*Салис им с Набоковым эти писатели!*] Такой особенный помещик? Что же это за такой особенный помещик? Если он умен, философ, видит зло общества, то почему же он не с революционерами, не с Чернышевским – почему он, видите ли, против передового (а ведь Левин, честно говоря, не очень сочувствует освободению крестьян)? (*простили Олеше эти по-ленински пламенные строки, хотя в его время крестьяне были куда менее свободны, чем при Левине и Облоинском*). Если он умен, то почему же он *не писатель*, не Лев Толстой? Кто же он? Чудак? Просто чудак?» (Олеши 1965: 204–205).

Говоря в набоковских терминах, Толстой взял Левина из «реальной жизни», списал с себя самого, но списал, по мнению Олеши, плохо, упустив главное – писательство. Если бы Левин не только косил с крестьянами, но и сочинял, причем не так плохо, как Бейст, а так хорошо, как Толстой (или Герцен), все было бы в порядке. Это, кстати, типичная позиция художника XX в., собрата Пруста, Джойса и Набокова, писавших романы о писательстве!

Худо-бедно списанный Толстым с собственной натуры Левин, конечно, скучнее «никогда не существовавшего» Стиви, но

ведь так и в «реальной жизни». Рисуя Стиву и подобных ему персонажей, Толстой наслаждается подрывом принятых культурных ценностей – стереотипов, идеологем, светских условностей, литературных клише (и в этом смысле тоже пишет с натуры!). В Левине же он на полном серьезе предлагает нам спасительный рецепт – в виде старой как мир предельно условной фигуры резонера, для оживления которой ему приходится применить немалое искусство.

Прием, обычно применяемый в таких случаях, состоит в том, чтобы очеловечить резонера путем придания ему всяческих слабостей. В VI части романа (гл. 6–15) Левин показан:

- ревнующим Китаю к гостю – светскому шалопану Васеньке Весловскому;
- недовольным необходимостью охотиться вместе с этим бестолковым горожанином;
- радующимся, что на другое утро гости (Васенька и Стива) проспали, и он может отправиться в лес один со своей собакой Лаской;
- обнаруживающим уже свою собственную бестолковость на фоне безошибочно чующей дичь Ласки; и даже
- бесцеремонно, вопреки правилам гостеприимства, прогоняющим Васеньку в город.

Сам этот прием («трюк») относится, конечно, к области литературной техники, вымысла, да и вообще все, что пишется и читается, это текст, а не «реальность». Но стопроцентного вымысла просто не бывает. Имя «Степан» и отчество «Аркадьевич» существовали до Толстого, да и фамилию «Облонский» он «небрежно переделал» (*Набоков 2006: 286*) из древней княжеской фамилии «Оболонский». Ревность Левина вполне автобиографична (вспомним забавные сцены, устраивавшиеся Львом Николаевичем Софье Андреевне по поводу ее увлечения, уже в 1890-х годах, композитором С.И. Танеевым, кстати, гомосексуалистом), как и его вызывающая прямота (вспомним историю его ссоры, чуть не кончившейся дуэлью, с И.С. Тургеневым). Верен он невымысленному себе – своей навязчивой идее преемственности низших (более «реальных») форм бытия над высшими (более «искусственными») – и в том, что пальму первенства он рад отдать себе, а не человеку.

«Вбежав в болото, Ласка тотчас же среди знакомых ей запахов корней, болотных трав, ржавчины и чуждого запаха лошадиного помета почувствовала рассеянный по всему этому месту запах птицы, той самой пахучей птицы, которая более всех других волновала ее. Кое-где

по моху и лопушкам болотным запах этот был очень силен, но нельзя было *решить*, в какую сторону он усиливался и ослабевал. Чтобы найти направление, надо было отойти дальше под ветер. <...> Вдохнув в себя воздух расширенными поздырми, она тотчас же *почувствовала*, что не следы только, а они сами были тут, пред нею, и не один, а много. <...> Они были тут, но где именно, она не могла еще *определить*. Чтобы найти это самое место, она начала уже круг, как выруг *голос хозяйки раздал ее*. «Ласка! тут!» – сказал он, *указывая ей в другую сторону*. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать, как она начала, но он *повторил* приказание сердитым голосом, *показывая в залитый водою кочкарник, где ничего не могло быть*. Она *послушала его*, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, излазила кочкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же *опять почувствовала их*. Теперь, когда он не мешал ей, она *знала*, что делать, и, не глядя себе под ноги и с досадой спотыкаясь по высоким кочкам и попадая в воду, но справляясь гибкими, сильными ногами, начала круг, который *все должен был объяснить ей*. <...> *Заметив* тот особенный поиск Ласки, когда она прижималась вся к земле... Левин понял, что она тянула по дупелям... Подойдя к ней вплоть, он стал с своей высоты *смотреть* пред собою *увидал глазами то, что она видела носом*. В проулочке между кочками на одной виднелся дупель...» (гл. 12).

Веришь каждому слову. И, в общем, не важно, создана ли Ласка «с головы до пят» воображением писателя или тщательно списана им с натуры – не откажем же мы Толстому в способностях Франциска Ассизского, понимавшего язык птиц, но написавшего сравнительно немного.

## 2. Во время пирожного

По мнению Бабеля,

«когда Толстой пишет “во время пирожного доложили, что лошади поданы”, – он не заботится о строении фразы, или, вернее, заботится, чтобы строение ее было нечувствительно для читателя» (*Мунблит 1989: 92*).

Это замечание переключается с мыслью Горького, который

«говорил [Эрдману...]: “Вы думаете, [Толстому] легко давалась его корявость? Он очень хорошо умел писать. Он по девять раз перемарывал – и на десятый получалось наконец коряво”» (*Гинзбург 1989: 11–12*).

Оба поюса – и отстраняющая «корявость» («заботится», «перемарывал», «получалось»), и натурализирующая ее «нечувствительность» («не заботится», «легко давалась», «хорошо писать») – интересным образом проявились и в самой бабелевской реакции.

Бабель неточно цитирует начало главы 6 «Детства» («Приготовление к охоте»):

«Во время пирожного был позван Яков и огданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей – все с величайшей подробностью, называя каждую лошадь по имени».

Это, однако, не просто ошибка, а контаминация со сходным местом в гл. 14 («Разлука»):

«Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал “кушать готово”, остановившись у притолоки, сказал: “Лошади готовы”».

Как можно видеть, работа бабелевской памяти отмечена двумя характерными чертами: цепким удержанием одних деталей и решительной трансформацией других.

Бросается в глаза полная сохранность (вопреки тезису о нечувствительности) сочетания оборота «во время» с «пирожным», не являющимся именем процесса, – сочетания, одновременно нескладного и естественного. «Во время пирожного» звучит «по-детски» – не как «во время десерта», а как «во время фруктов».

Однако эта корявость не была создана путем перемарывания, а возникла «легко». Уже в черновом варианте «Детства» – по-вести «Четыре эпохи развития» – стояло:

«Во время пирожного был позван Никита, и огданы приказания насчет собак, линейки для папая с девочками и насчет верховых лошадей для нас, все с величайшей подробностью, называя каждую лошадь по имени».

Дело в том, что в XIX в. «пирожное» значило также «десерт, сладкое, третье» (Словарь, 9: 1214), и сдвига, заметного нам сегодня и предположительно заинтересовавшего Бабеля более полвека назад, в оригинале просто не было.

Впрочем, внимание Бабеля могло быть привлечено вообще не этой шероховатостью лексико-синтаксической сочетаемости, а смелым сопряжением «пирожного» с «лошадьми», которое и по-

служило тайным стимулом к контаминации (Бабелем) двух фрагментов «Детства». Предпосылки для такого монтажа содержатся в толстовском тексте: речь о лошадях заходит уже в первом отрывке – «во время пирожного», а во втором задается сравнение лошадей с едой – употреблением общего слова «готово». Бабель (бывший, кстати, заядлым лошадиником и, возможно, потому связавший фразы, разделенные десятками страниц) лишь усиливает эффект, повышая насыщенность и краткость фразы, а значит, и смежность двух ее столь разнородных компонентов.

Делает он это вполне в духе эпохи, и в частности великого поэта синтагматики – Пастернака (тоже, кстати, поклонника Толстого). Ср.:

Так приближается удар  
За сладким, из-за ширмы лени...  
*Июльская гроза*, 1915

Велос у всех, чтоб за обедом,  
Хотя б на третье дождь был подан,  
Меж тем как вихрь – велосипедом  
Летал по комнатным комодам.

*Мефистофель*, 1919

Во втором примере налицо даже слово «подан» и некий метафорический велосипед – по-своему тоже немножко лошадь...

### 3. Без матки

От Толстого à la Бабель обратимся к самому Толстому. В том месте «Войны и мира», где Наполеон смотрит на Москву с Поклонной горы (III, 3, XIX), последовательно проведена метафора предвкушаемого овладения русской столицей как женщиной.

«Москва... расстилалась... с невиданными формами необыкновенной архитектуры... На дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон... видел трепетание жизни... и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.

Всякий русский... чувствует, что она мать; всякий иностранец... и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города, и Наполеон чувствовал его. "Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur", думал он... Он смо-

трел на лежащую пред ним; еще невиданную им восточную красавицу... свершилось его давнишнее... желание... и уверенность обладания волновала и ужасала его.

...Как и каждый француз, не могущий вообразить себе ничего чувствительного без воспоминания о ma chère, ma tendre, ma pauvre mère, он решил... на всех этих заведениях... написать... Établissement dédié à ma chère Mère. Нет, просто: Maison de ma Mère».

Москва предстает – впрямую и на уровне лексических коннотаций – в виде дышащего жизнью и играющего своими большими и красивыми формами женского тела, которое лежит перед Наполеоном, вызывая у него сильные чувства, желание, волнение, предвкушение и одновременно боязнь обладания. Это женственное тело воспринимается как женщина вообще, мать (со священной русской точки зрения), подлечащая обесчещенную девушку (по-французски), восточная красавица (с романтическими коннотациями «одалиски») и снова как мать (по-французски, в сентиментальном семейном ореоле, отчасти подрываемом, однако, бордельными обортонами слова *maison*)<sup>2</sup>.

«Инцестуально изнасилованию» Москвы Наполеоном не суждено, однако, совершиться, поскольку Москва покинула жителей, а в дальнейшем сгорает, вынуждая завоевателей ни с чем убираться воясами. На тропологическом уровне это выражено возвращением сравнением, занимающим почти всю следующую главу.

«Москва... была пуста... как пуст бывает домиращий, обезматовивший улей. В обезматовившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.

Вьются пчелы вокруг обезматовившего улья, как и вокруг живых ульев... Но в улье этом уже нет жизни... работа согов... не в том виде девственности, в котором она бывала прежде... Пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят... ничего не желая и потеряв сознание жизни».

...Здесь произведена полная конверсия парадигмы, заданной в предыдущей главе. Все живое оказывается мертвым, все молодое – старым, красивые формы – ссохшимися, а желание – отсутствующим. Особенно интересно, что вместо девушки, которой еще только предстоит потерять честь по воле завоевателя, здесь фигурирует образ девственности, каким-то образом уже не имеющей места. Но поразительнее всего метаморфоза, связывающая центральные тропы двух глав.

.. В главе XX трижды проходит громоздкое «обезматовивший», но ни разу не появляется более прямое «матка». Между тем именно оно, но не в очевидном по контексту смысле «пчелиная матка», а в двух других, здесь переносных, подслушно играет главную роль. В просторечном употреблении «матка» значит «мать» (Словарь, б: 704) – та самая «мать, mère», символическое овладение которой волновало и ужасало Наполеона в предыдущей главе, а теперь оказывается невозможным ввиду «обезматовичности». Отсутствие же «матки» еще в одном словарном значении – как «женского детородного органа» придает этой невозможности физиологическую, «бабелевскую» осязаемость<sup>3</sup>.

Толстой идет, так сказать, на метафорическое удаление матки, лишь бы не позволить своему главному эпическому злодею-иностранцу овеществить по отношению к главному эпическому герою романа – русскому народу – самую популярную, но и самую сокровенную метафору русского языка. А заодно дает один из ранних образцов той сексофобии, которой чем дальше, тем больше будут пронизаны его последующие произведения.

Не слишком ли рискованно подобные «матерные» предположения о скрытой символике фрагмента? Знавшие Толстого свидетельствуют о его вкусе к мату (ср. хотя бы его знаменитое сокращение «е. б. ж.» – «если будем живы»). Более того, мат есть и в тексте «Войны и мира». Так, своего рода сюжетной рифмой к рассмотренной выше «половой фрустрации» вождя победоносных французов является заключительная реплика Кутузова о французах побежденных:

« – А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м[ать] и [хъ] в [лузно], – вдруг сказал он... и галлопом в первый раз за всю кампанию поехал прочь от радостно хохотающих и ревавших ура... солдат» (IV, 4, VI).

В подтверждение же интереса Толстого к скрытой обценной игре с описаниями половых органов можно привести ту главу «Анны Карениной», где ненадолго появляется отталкивающий двойник Вронского –

«иностраный принц», ищущий «русских удовольствий», чьи «суждения о русских женщинах, которых он желал изучать... заставляли Вронского краснеть от негодования»; «несмотря на излишества, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зеленый глиняный голландский огурец» (IV, 4).

Со времен «мин хера каномира» Петра лексическая соче- таемость прилагательного «голландский» в качестве постоянного эпитета была в русском языке крайне ограничена. Как однажды сказал своему министру (внутренних дел, Л.А. Перовскому) им- ператор Николай I (стремившийся «прашуру быть подобным» и сильно занимавший Толстого), «голландскими» в русском языке бывают только две вещи – «сыр» и «хер» (а «посола» бывает «госу- дарства Нидерландов»).

#### 4. Кому у кого учиться писать

Толстой уверял, что «нам» – у крестьянских детей, но «дети» упорно учатся у Толстого. Действительно, разгадка того, «почему получилось так здорово», часто ведет к «Войне и миру».

«*Собаچه сердце*». Меня всегда интриговало это место бул- гаковской повести – в нем мерещилось что-то знакомое:

« – Тогда, профессор... – сказал взволнованный Швондер, – мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, и голос его принял подо- зрительно вежливый отенок, – одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, – в восторге подумал пес, – весь в меня. Ох, и тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще, каким способом, но так тяп- нет... Бей их!... Р-р-р...»

Филипп Филиппович... снял трубку с телефона и сказал так:

– Пожалуйста... Петра Александровича... Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует... Будьте любезны, – змеиным голосом обратился он к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить...

– Как оплевал! Ну и парены! – восхищенно подумал пес...

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

– Это какой-то позор! – несмело вымолвил тот».

Сцена памятная, любимая, «типичный Булгаков». Но – на толстовской подкладке.

«Малаша... иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополом», как она называла Беннигсена. Она видела, что они злились, когда говори- ли друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В середине

разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Беннигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, ска- зав что-то длиннополному, осадил его: Беннигсен вдруг покраснел и сер- дито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Беннигсена, были спокойным и тихим голосом выраженое Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Беннигсена <...>

– Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны <...> Так, например... (Кутузов как бы задумался, прискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Беннигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хо- рошо помнит [т. е. проигранное Беннигсеном], было... не вполне удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком рас- стоянии от неприятеля... – Последовало, показавшееся всем очень про- должительным, минутное молчание».

Булгаков дожимает «примитивную» точку зрения, спу- ская ее от крестьянской девочки Малаши еще ниже, к Шарикку (с оглядкой, конечно, на Холстомера и левинскую Ласку), и ме- няет ее направленность: Шарик вовлеченнее и агрессивнее Ма- лаша, а восторг по поводу апелляции профессора к началству – установка чисто булгаковская и никак не толстовская.

«*Остров Крым*». Поворотным моментом в альтернативной истории Гражданской войны в аксеновском романе становится импровизированный артиллерийский удар по льду, которым лей- тенант Бейли-Лэнд останавливает взятие красными Перекопа.

«Марлен Михайлович... вспомнил День лейтенанта Бейли-Лэнда, 20 января 1920 года, один из самых засекреченных для советского народа исторических дней... когда против... лавины революционных масс встал один-единственный мальчишка, англичанин, прыщавый и дурашливый. Встал и победил... Марлен Михайлович был допущен к секретным архи- вам... Качнулись устои веры... «роль личности в истории» вдруг поверну- лась... неприглядным, не-марксистским боком...»

В полном соответствии с логикой классовой борьбы впервые за столетие замерз Чонгарский пролив, и <...> по сверкающему льду сто- койно двинулись к острову армии Фрунзе и Миронова <...> Не соот- ветствовало логике классовой борьбы лишь настроение двадагидух- летнего лейтенанта Ричарда Бейли-Лэнда... он был слегка с похмелья... Вооружившись карабином, офицерик заставил своих пушкарей остаться в башне... развернул башню в сторону наступающих колонн и открыл по ним залповый огонь... Прицельность стрельбы не играла роли: снаряды

ломали лед, передовые колонны тонули в ледяной воде, задние смешались, началась паника...

Героя битвы... нашли в офицерском клубе... Марлена Михайловича... возмущало, что Дик Бейли-Лэнд в последовавших за победой интервью настойчиво отклонял всяческие восхваления... собственный героизм...

— У меня и в мыслях не было защищать... русскую империю, конституцию, демократию... Мне просто была любопытна сама ситуация — лед, наступление, главный калибр, бунт на корабле, очень было все забавно...

«Как? — возмущался Марлен Михайлович... Из чистого любопытства гнусный аристократиска отвернул исторический процесс...»

Этот ключевой для всей конструкции романа эпизод (сюжетной рифмой к нему служит несовершенное аналогичное построение при финальном советском вторжении на Остров) — один из самых сильных. Его опора на Ледовое побоище и разгром Кронштадтского мятежа Тухачевским бросается в глаза, но классический литературный источник не так очевиден. На самом деле полемическая игра Аксенова с историческим материализмом вполне или невольно маскирует реминисценцию из главного исторического романа всех времен и народов и за подчеркнута ангажированным героем не сразу угадывается русский до глубины души персонаж:

«Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидел... синих французских драгун... Он чутьем чувствовал, что, ежели ударить теперь... они не устоят; но... сию минуту, иначе будет уже поздно... Ростов... толкнул лошадь... и не успел еще командовать движением, как весь эскадрон; испытывавший то же, что и он, тронулся за ним... Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая...

Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказа, был... убежден, что начальник требует его... чтобы наказать его за самовольный поступок...

Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, — и никак не мог понять чего-то... Так только-то и есть всего то, что называется героизмом? И разве я делал это для отца?..»

Сходства очевидны. Это и любительские, а не идеальные мотивы поведения героя, и нарушение им воинской дисциплины; и

его официальный триумф, и последующее отмежевание от героизма. Но у Толстого спонтанный, противу правил, поступок Ростова выдержан в «русском» духе близости к природе, интуитивной безотчетности и «роевой» совместности с эскадрой. Аксенов же переводит его в план британского индивидуализма и спортивного экспериментаторства, с примесью «чистого любопытства» из Осташа Бендера. Что же касается роли личности в истории, то тут Аксенов идет вразрез не только с марксизмом-ленинизмом, но и с Толстым, у которого крупные исторические события тоже определяются действиями масс, а не отдельных героев, хотя бы и любимых.

«Перед зеркалом». В толстовской прозе иногда обнаруживаются и ключи к самым хрестоматийным строкам поэзии XX в. Бескомпромиссно жесткое ходасевичевское стихотворение 1924 г. сознательно интертекстуально — оно открывается эпиграфом из Данте (Nel mezzo del cammin di nostra vita), а в тексте упоминается и Вергилий, но никаких других прямых отсылок, в том числе к Толстому, в нем нет. Вот его текст (смысл выделений скоро станет ясен):

Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это я? Разве мама любила таково, Жёлто-серого, полуседого, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на дачных балах, — Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злону и страх? Разве тот, кто в полнотные споры. Всю мальчишечью вкладывал прутья, — Это я, тот же самый, котормый На трагические разговоры Научился молчать и шутить? Впрочем — так и всегда на средние Рокowego земного пути: От ничтожной причины — к причине, А глядишь — заплутался в пустыне, И своих же следов не найми. Да, меня не пантера прысками На парижский чердак заганала. И Вергилия нет за плечами, — Только есть одиночество — в раме Гбворящего правду стекла.

Ситуация «перед зеркалом» в контексте подведения неутешительных жизненных итогов дважды проходит в «Смерти Ивана Ильича» (1886) — в главах V и VIII:

«Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи».



«Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало: особенно страшно было то, как волосы плоско прижались к бледному лбу».

Разумеется, это еще ничего не доказывает – подобных сцен в литературе много. Но между двумя эпизодами перед зеркалом, в знаменитом пассаже о смертности абстрактного Кая, но не самого Ивана Ильича (в главе VI), проходит серия вопросов, начинающихся с недоуменного *Разве* и включающих апелляции к маме, детству, юности – в попытке отгородиться от реальности происходящего с теперешним «я»:

«То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а *он всегда был совсем, совсем особенное* от всех других существ; он был Ваня с мамой, папой, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами *детства*, юности, молодости. *Разве* для Кая был тот запах кожного полосками мячика, который так любил Ваня? *Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуришал шелк складок платья матери? Разве* он бунтовал за пирожки в Правоведении? *Разве* Кай так был влюблен? *Разве* Кай так мог вести за седание?»

Более или менее очевидно, что этот пассаж послужил источником сходной риторики в стихотворении Ходасевича.

\* \* \*

...Рассекреченные анализом, подобные эффекты не теряют, я думаю, а приобретают в изысканности, хотя замышлялись они, скорее всего, не как аллюзии, а как оригинальные находки. Оригинальные и безусловно удачные, ибо освященные каким-то, непонятно каким, высшим авторитетом. То есть сначала кажется, что непонятно, а теперь понятно – авторитетом интертекста. Таковы неожиданные удары со стороны классика и инстинктивные ответные попытки победить учителя.

## МАЛЕНЬКИЙ МЕТАТЕКСТУАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР ЛЕСКОВА\*

Так получается то, что я называю художественным филологизмом.

*Эйхенбаум*

### 1

Речь пойдет о рассказе «Дух госпожи Жанлис. *Спиритический случай*» (1881; 7: 79–92<sup>1</sup>; далее – ДГЖ), до недавнего времени не избалованном вниманием исследователей<sup>2</sup>, несмотря на повествовательный блеск и предстательность как образца лесковской поэтики. По жанру он принадлежит к святочной серии Лескова, по композиции – к числу его динамичных коротких повелл (а не рыхлых повестей), по литературной ориентации – к открыто интертекстуальным этюдам и литературным анекдотам, по типу сюжета – к фарсовым посрамлениям антигероя, по стилистической манере – к «авторским» полудокументам-полувымыслам, по мотивному репертуару – одновременно к упражнением на словесные темы и к шокирующим демонстрациям «голой правды».

Вкратце сюжет таков:

\* Впервые: Новое литературное обозрение. 2008. № 93. С. 155–176.

фигуру подпольного человека имел одним из своих ранних предвестий умаление лишнего человека в «Тамани».

<sup>20</sup> См.: (Чудаков 1972; Жолковский, Щеглов 1986: 21–52); со ссылкой на (Берковский 1969).

<sup>21</sup> Тщательно выверенную игру в выстрел/не-выстрел представля-ет собой, в сущности, все повествование первой из «Повестей Белкина», начиная с раннего упоминания о втройне нереальном выстреле (гипоте-тическом, безопасном и к тому же скрыто интертекстуальном – à la Виль-гельм Телль), под который каждый был бы готов подставить свою голову, и кончая кульминационным холостым сажанием пули в другую пулю и беглым полупоминанием о смертельном попадании «под Скулянами» в эпилоге.

Белинский 1954 – Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 18 т. Т. 4. М.: АН СССР, 1954.

Берковский 1969 – Берковский Н.Я. Чехов: от рассказов и повестей к дра-матургии // Берковский Н.Я. Литература и театр. М.: Искусство, 1969. С. 48–184.

Гершензон 1919 – Гершензон М.О. «Станционный смотритель» // Гер-шензон М.О. Мудрость Пушкина. М.: Книгоизд-во писателей, 1919. С. 122–127.

Жолковский, Щеглов 1986 – Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. Телаву NJ: Эр-митаж, 1986.

Лермонтов 1957 – Лермонтов М.Ю. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.; Л.: АН СССР, 1957.

Лотман 1975 – Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Оне-гин». Тарту: ТГУ, 1975.

Михайлова 1957 – Михайлова Е. Проза Лермонтова. М.: Худож. лит., 1957.  
Чудаков 1972 – Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1972.

Эйхенбаум 1987 [1924] – Эйхенбаум Б.М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Сов. писатель, 1987. С. 140–286.

Garrard 1982 – Garrard J. Mikhail Lermontov. Boston: Twayne, 1982.

Match 1987 – Match O. What is To Be Done About Poor Nastya? Literary Prototypes of Nastasia Filippovna // Wiener Slavistischer Almanach. 1987. Bd. 19. P. 47–64.

Mersereau 1962 – Mersereau J. Mikhail Lermontov. Carbondale: Southern Illinois UP, 1962.

Nabokov 1958 – Nabokov V. Translator's Foreword // Mikhail Lermontov. A Hero of Our Time / Transl. by Vladimir Nabokov in collaboration with Dmitri Nabokov. Garden City NY: Doubleday 1958. P. v–xix.

Pease 1967 – Pease R.A. The Role of «Taman» in Lermontov's «Geroi Nashego Vremeni» // Slavonic and East European Review. 1967. Vol. 45. P. 12–29.

Быть или не быть богом.  
К проблеме авторской власти у Достоевского (с. 146)

<sup>1</sup> См.: (Учение 1993: 58, 270).

<sup>2</sup> См.: (Бочаров 1985).

<sup>3</sup> О превращении Алеши из «сына» в «отца», о нем как «авторе» жи-тия Зосимы и о параллели Зосима – Великий Инквизитор см.: (Holquist 1977: 177–197 («[Zosima] has precisely the kind of power sought by Ivan's Grand Inquisitor», P. 189). Об авторитетности/компроматации дикуров героев в «Братьях Карамазовых» и о жгитийном построении образа Але-ши с опорой на агнографическую фигуру Алексея человека Божьего см.: (Ветловская 1977).

Бочаров 1985 – Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Боча-ров С.Г. О художественных мирах. М.: Сов. Россия. С. 161–209.  
Ветловская Е. 1977 – Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карама-зовы». Л.: Наука, 1977.

Учение 1993 – Учение: Пятикнижие Моисеево / Пер. и коммент. И.Ш. Шифмана. М.: Республка, 1993.  
Holquist 1977 – Holquist M. Dostoevsky and the Novel. Princeton: Princeton UP, 1977.

Тонкости чтения

Из заметок о Льве Толстом (с. 160)

<sup>1</sup> Замечание Олеси справедливо в целом, но не в частностях. На протяжении всего романа (II, 12; III, 29–30; V, 15; VI, 3; VII, 1, 3) Левин пишет книгу, где излагает свои оригинальные взгляды на эконо-мику сельского хозяйства, а также дневник, который перед свадьбой по-казывает Кити (к ее ужасу; IV, 16). После неудачи со сватовством он ви-дит в сочинении книги чуть ли не смысл жизни, а женившись, относится к ней более спокойно, но по-прежнему серьезно и даже знакомит с ней (без особого успеха) двух московских ученых. Но в VIII части, своего рода эпилоге романа, о сочинении Левина нет ни слова, зато сообщается о выходе провальной книги его сводного брата-философа С.И. Козны-шева (VIII, 1, 14). А незадолго до самоубийства Анны упоминается, что

она пишет роман для детей (VII, 9, 10). Но ни с кем из этих персонажей Толстой не делится своим авторским статусом так, как это рекомендует ему Олеша.

<sup>2</sup> Об архаических метафорах города как женщины и овладения городом как бракосочетания или изнасилования см.: (Иванов 1986: 15; Топоров 1987: 121–132 – «Текст города-девы и города-блудницы в мифро-логическом аспекте»). Топоров приводит в сноске и рассматриваемый здесь фрагмент из «Войны и мира».

<sup>3</sup> Мифологизация в архаических текстах мотивов «матери», «матки» и всего круга половой метафоры, используемой в трактовке «взятия» города, подробно рассматривается Топоровым, но новаторская разработка этого топоса Толстым, нашедшим в «обезматочности» возможность лишить «насильника-завоевателя» его приза, не попадает в поле его внимания.

Согласно Топорову, архаическое приравнивание города к женщине имеет своим продолжением мотивы «огороженности» и «четырёхугольности», типичные для города и проецируемые на женщину – в виде «четырёхчленности женской жертвы, соотносимой с аналогичным образом устроенным алтарем» (с. 131; алтарь – ещё один символический образ города, женщины и бракосочетания). В связи с этим обращает внимание мифологическая корректность, будь то сознательная или бессознательная, толстовского хода от города-девы к улью, имевшему вид ящика или выдолбленной колоды. О «четырёхугольном и круговом» типах организации архаических городов см.: (Иванов 1986: 9).

Дополнительный эффект во всю эту игру с «пчелиной» маткой» вносит тот факт, что пчела была (наряду с орлом и буквой N) хорошо известной эмблемой Наполеона.

Бабель 2006 – Бабель И. О творческом пути писателя // Бабель. Собр. соч.: В 4 т. М.: Время, 2006. Т. 3.

Гинзбург 1989 – Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. Л.: Сов. писатель, 1989.

Иванов 1986 – Иванов Вяч.Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1986. Вып. 19. С. 7–24.

Мунблит 1989 – Мунблит Г. Из воспоминаний // Воспоминания о Бабеле / Сост. А.Н. Пирожкова, Н.Н. Юргенева. М.: Кн. палата, 1989. С. 79–93.

Набоков 1996 – Набоков В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М.: Независимая газета, 1996.

Олеша 1965 – Олеша Ю. Ни дня без строчки. М.: Сов. Россия, 1965.

Паустовский 1989 – Паустовский К. Рассказы о Бабеле // Воспоминания о Бабеле / Сост. А.Н. Пирожкова, Н.Н. Юргенева. М.: Кн. палата, 1989.

Топоров 1987 – Топоров В.Н. Заметки по реконструкции текстов // Исследования по структуре текста / Под ред. Т.В. Цивьян. М.: Наука, 1987. С. 99–132.

Словарь современного русского литературного языка: 17 т. / Сост. В.И. Черников. М.: АН СССР, 1948–1965.

### Маленький метатекстуальный шедевр Лескова (с. 175)

<sup>1</sup> Ссылки на изд.: (Лесков 1956–1958) ограничиваются номерами тома и страниц. Большинство справочных сведений о ДГЖ почерпнуто из (Бузитаб 1958). Курсив везде мой.

<sup>2</sup> Так, в подробной обзорной статье ведущего российского специалиста по Лескову (Юрелов 1994) этот рассказ не упомянут; в двухтомной биографии (Лесков А. 1984) он упоминается лишь однажды – в связи с отношением Лескова к спиритизму; в стандартной американской книге о Лескове ему и еще двум рассказам посвящена одна пренебрежительная фраза (Lantz 1979: 124), а в (Spiegel 2002) о нем нет ни слова. Ценные исключения – (McLean 1977: 378–379; Muller de Morogues 1991: 91–92; Поздеев 2000; Выицкий 2008; Vinitzky 2009). В свое время рассказом восхищался Тынянов: «Юрий Николаевич любил перечитывать забытые произведения старых писателей. Помню, с каким восторгом он читал вслух “Дух госпожи Жанлис”» (Стенанов 1983: 238).

<sup>3</sup> О святочных аспектах ДГЖ см.: (Поздеев 2000).

<sup>4</sup> «Презрительное отношение Лескова к модному в те годы “духовидству” сказалось в ряде его отзывов... например, в... рассказе “На краю света”» (Бузитаб 1958: 513).

«Распространение спиритизма Н.С. Лесков считал явлением суверенно ограниченным. Начало его выступлениям положили статьи... 1869 г., полемика продолжалась в художественной прозе (“На краю света”, 1875 г.; “Дух госпожи Жанлис”, 1881 г.). Лесков называл спиритизм продуктом “большой и очень сильной скуки” высшего общества, иронизировал над “подстольными стряпчими спиритизма”, делая, однако... допущение, что не вся “суть вопроса о причине вещей находится в заведовании партизанов силы и материи”» (Лесков А. 1984, 1: 472).

О Лескове и спиритизме см.: (Muller de Morogues 1983, 1991: 113–132; Выицкий 2006, 2007, 2008).

<sup>5</sup> Во многом сходен с ДГЖ рассказ «Русские демономаны» (1880; Лесков 1994: 253–293), состоящий из ряда эпизодов, два из которых